

Поль Рикер

Модель текста: осмысленное действие как текст*

Цель данной работы – проверить гипотезу. Я исхожу из того, что слово «герменевтика», в его изначальном смысле, имеет отношение к правилам интерпретации письменных документов нашей культуры. Принимая это первичное допущение, я сохраняю верность концепту «*Auslegung*»* в том виде, какой придал ему Вильгельм Дильтей. «*Verstehen*» (понимание, постижение), в свою очередь, зависит от распознавания того, что подразумевает или имеет в виду другой субъект на основе всех видов знаков, с помощью которых психическая жизнь выражает себя (*Lebensäußerungen***). «*Auslegung*» (истолкование, экзегеза) означает нечто более специфическое: оно охватывает только ограниченную категорию знаков, а именно тех, которые зафиксированы письменно, включая все виды документов и памятников, допускающих фиксацию, схожую с письменной.

В настоящий момент моя гипотеза такова: если существуют особые проблемы, связанные с интерпретацией текстов (они являются текстами, а не устной речью), и если именно эти проблемы конституируют саму герменевтику, то социальные науки могут считаться герменевтическими: 1) поскольку их *объект* обнаруживает некоторые черты, конститутивные для текста как такового, 2) поскольку в их *методологии* разрабатываются процедуры, аналогичные процедурам «*Auslegung*» или интерпретации текста.

Соответственно, моя работа будет посвящена двум вопросам: до какой степени понятие текста можно рассматривать в качестве парадигмы так называемого объекта социальных наук и насколько мы можем использовать методологию интерпретации текста как парадигму интерпретации в социальных науках?

I. Парадигма текста

Для обоснования различия между устным и письменным языком я бы хотел ввести предварительное понятие *дискурса*. Именно как дискурс язык бывает либо устным, либо письменным. Что же такое дискурс?

Мы будем искать ответы не у логиков и даже не у представителей лингвистического анализа, а у самих лингвистов. Дискурс является соотносительным понятием того, что лингвисты называют языковыми системами, или лингвистическими кодами. Дискурс – это событие языка (*language-event*), или лингвистический узус (*linguistic usage*). Пары предполагающих друг друга понятий «система – событие» (*system/event*), «код – сообщение» (*code/message*) играют первостепенную роль в лингвистике с тех пор, как они были введены Фердинандом де Соссюром и Луи Ельмслевом. Первый рассматривал пару «язык (*langue*) и речь (*parole*)», второй рассуждал о структуре и узусе (*schema – usage*). Можно также упомянуть пару «компетенция – употребление» (*competence – performance*), представленную Хомским. Необходимо рассмотреть эпистемологические следствия данного дуализма, а именно тот факт, что правила лингвистики дискурса отличаются от правил лингвистики языка. Французский лингвист Эмиль Бенвенист, работая с этим различием, продвинулся дальше всех. С его точки зрения, предметы двух лингвистик различны. Если основная единица языка – это знак (фонологический или лексический), то основным элементом дискурса является предложение. Следовательно, именно лингвистика предложения дает

* Ricoeur Paul. The Model of the Text: Meaningful Action Considered as a Text // New Literary History. 1973. Vol. 5. № 1. What Is Literature? P. 91-117.

© Борисенкова А., 2008.

© Центр фундаментальной социологии, 2008.

* Истолкование (нем.) – Прим. ред.

** Выражения жизни (нем.) – Прим. ред.

основу теории речи как события. Исходя из данной лингвистики предложения, я выделю четыре черты, которые позволят мне разработать герменевтику события и дискурса.

Первая черта: дискурс всегда реализуется темпорально и в настоящем времени, тогда как время как лингвистическая система виртуальна и вневременна. Эмиль Бенвенист называет это «моментом дискурса» («instance of discourse»).

Вторая черта: если язык бессубъектен, в том смысле, что вопрос «кто говорит?» по отношению к нему не задается, то дискурс указывает на присутствие говорящего с помощью группы индикаторов, таких как личные местоимения. Можно сказать, что «момент дискурса» самореферентен.

Третья черта: тогда как в языке знаки соотносятся только друг с другом в пределах системы, и язык, следовательно, утрачивает соотнесенность с миром (так же, как утрачивает темпоральность и субъективность), дискурс всегда указывает на что-либо. Он относится к миру, который претендует описать, выразить или репрезентировать. Именно в дискурсе актуализируется символическая функция языка.

Четвертая черта: если язык является лишь условием коммуникации, которой он предоставляет коды, то именно в дискурсе происходит обмен всеми сообщениями. В этом смысле один лишь дискурс относится не только к миру, но и к *другому* – иному человеку, к собеседнику, которому он адресован.

Эти четыре черты, взятые вместе, конституируют речь как событие. Примечательно, что они возникают только в ходе исполнения языка в дискурсе. Поэтому любая апология речи как события имеет значение тогда и только тогда, когда она делает наглядным исполнение, посредством которого наша лингвистическая компетенция актуализируется в речевой практике. Но та же апология оказывается неправомерной, как только событийный характер распространяется от исполнения, где он оправдан, к пониманию. Что означает понять дискурс?

Посмотрим, как по-разному данные четыре черты актуализируются в устном и письменном языке.

1. Дискурс, как мы уже отмечали, существует только как темпоральный момент в настоящем. Эта черта по-разному проявляется в живой речи и в письме. В живой речи момент дискурса имеет характер мимолетного события, появляющегося и исчезающего. Поэтому существует проблема фиксации, запечатления (*inscription*). Мы хотим фиксировать то, что исчезает. Говоря о том, что некто фиксирует язык – запечатлевает алфавит, лексику, синтаксис, – мы имеем в виду, что все это делается ради того одного, что должно быть зафиксировано, то есть ради дискурса. Только дискурс следует фиксировать, поскольку он исчезает. Вневременная система не появляется и не исчезает, она вообще не случается. Здесь уместно вспомнить миф в диалоге Платона «Федр»^{*}.

Письмо было дано людям, чтобы преодолеть «слабое место» дискурса – его событийность. Дар «*grammata*» – дар внешней вещи, внешних меток, материализующего отчуждения – оказался поистине «лекарством» для человеческой памяти. Однако египетский правитель Фив мог возразить богу Тевту, указав на то, что письмо все же является ложным «лекарством», поскольку оно заменяет подлинное воспоминание материальной консервацией и настоящую мудрость – подобием знания.

Запечатление, несмотря на таящиеся в нем опасности, является предназначением дискурса. Что фиксирует письмо? Не событие говорения, а «сказанное» говорения, причем под *сказанным* мы понимаем ту намеренную экстерниоризацию, конститутивную для цели дискурса, благодаря которой *sagen*^{*} стремится стать высказыванием, высказанным (*Aus-*

^{*} В оригинале Рикер упоминает диалог Платона «Федон» (*Phaedo*), а не «Федр». Здесь присутствует ошибка либо автора, либо редактора статьи. Сюжет, в котором бог Тевт дарит египтянам письменность и обсуждает с царем Египта Тамусом пользу и вред этого изобретения, рассказывается Сократом в диалоге «Федр». [*Платон. Федр // Сочинения в трех томах. Т. 2 / Под общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса. М.: «Мысль», 1970. С. 216-220*]. – *Прим. перев.*

^{*} Говорить, говорение (*нем.*) – *Прим. ред.*

sage). Вкратце, то, что мы записываем, запечатлеваем, – это ноэма говорения. Это смысл речевого события, а не событие как таковое.

Что все-таки фиксирует письмо? Если не *событие* речи, то тогда саму речь, в той степени, в которой она является «сказанной». Что же в таком случае «сказанное»?

Здесь я хотел бы заметить, что герменевтика должна обратиться за помощью не только к лингвистике (противопоставлению лингвистики дискурса и лингвистики языка), но и к теории речевых актов в том виде, в котором она представлена у Остина и Серля. По их мнению, акт говорения конституируется иерархией подчиненных актов, распределенных на трех уровнях: 1) локутивного или пропозиционального акта, акта говорения; 2) иллокутивного акта или иллокутивной силы, того, что мы делаем *в* говорении; 3) перлокутивного акта, или того, что мы делаем *посредством* говорения. Например, я прошу вас закрыть дверь: «Закройте дверь!». Это акт говорения. Но когда я говорю вам это в форме приказа, а не просьбы, это иллокутивный акт. В итоге, я могу вызвать им определенные следствия, в частности, страх. Данные следствия делают мой дискурсивный акт подобием стимула, приводящего к определенным результатам. В таком случае это перлокутивный акт.

Что следует из этих различий с точки зрения нашей проблемы намеренной экстерииоризации, посредством которой событие превосходит по смыслу себя самое и отдается материальной фиксации? Локутивный акт экстерииоризируется в предложении. Предложение может быть идентифицировано и реидентифицировано как то же самое предложение. Предложение становится высказыванием (*Aus-sage*) и таким образом передается другим как определенное предложение с конкретным смыслом. Но иллокутивный акт также может быть экстерииоризован в грамматических парадигмах (в форме индикатива, императива, сослагательного наклонения и с помощью других средств выражения иллокутивной силы), способствующих его идентификации и реидентификации. Конечно, в устном дискурсе иллокутивная сила опирается на мимику и элементы жестикуляции и на неартикулированные аспекты дискурса, называемые просодией. В этом смысле она менее полно представлена в грамматике, чем пропозициональный смысл. В любом случае запечатление иллокутивной силы в синтаксической артикуляции само по себе собрано в специфических парадигмах, которые по существу делают возможной ее фиксацию посредством письма. Без сомнения, следует признать, что из всех аспектов дискурса перлокутивный акт – наименее запечатляемый аспект дискурса и в то же время он главным образом характеризует устную речь. Однако именно перлокутивный акт – наименее «дискурсивный» элемент дискурса. Он представляет собой дискурс как стимул, поскольку совершается не благодаря распознаванию собеседником моей интенции, но энергически, непосредственным влиянием на эмоции и аффективные диспозиции. Таким образом, пропозициональный акт, иллокутивная сила и перлокутивное действие в порядке убывания подвержены намеренной экстерииоризации, делающей возможным запечатление в письме.

Следовательно, под смыслом речевого акта или ноэмы говорения необходимо понимать не только предложение в узком смысле пропозиционального акта, но и его иллокутивную силу и даже перлокутивное действие в той мере, в которой эти три аспекта речевого акта кодифицированы и собраны в парадигмы, где они могут идентифицироваться и реидентифицироваться как имеющие один и тот же смысл. Поэтому здесь я придаю понятию «смысл» (*meaning*) очень широкий спектр значений, охватывающий все аспекты и уровни намеренной экстерииоризации, делающей возможной запечатление дискурса.

Предрасположенность трех других черт дискурса переходить от дискурса к письму позволяет нам более четко определить смысл перехода от говорения к сказанному.

2. Как мы отмечали, вторая отличительная черта дискурса по отношению к языку заключается в том, что предложение указывает на рассказчика с помощью разнообразных индикаторов субъективности и персональности. В устном дискурсе эта референция дискурса к говорящему субъекту носит непосредственный характер, который может быть объяснен следующим образом. Субъективная интенция говорящего и смысл дискурса накладываются друг на друга так, что понимание того, что имеет в виду говорящий, приравнивается к

пониманию его дискурса. Двусмысленность французского выражения «*vouloir dire*», немецкого «*meinen*» и английского «*to mean*» подтверждает это совпадение. Задать вопрос «Что вы имеете в виду?» почти то же самое, что задать вопрос «Что это значит?».

В письменном дискурсе интенция автора и смысл текста перестают совпадать. Ключевое значение имеет то, что происходит диссоциация буквального смысла текста и внутренней интенции рассказчика при запечатлении дискурса. Однако это вовсе не означает, что возможно представить текст без автора; связь между говорящим и дискурсом не устраняется, она расширяется и усложняется. Диссоциация смысла и интенции по-прежнему остается приключением, связанным с референцией дискурса к говорящему субъекту. Но «карьера» текста вырывается за конечный горизонт своего автора. То, о чем повествуется в тексте, теперь имеет больше значения, чем то, о чем хотел сказать рассказчик. Любая экзегеза разворачивается в пределах смысла, разрушившего связи, скреплявшие его с психологией автора.

Снова используя выражение Платона, письменный дискурс не может быть «спасен» посредством всех приемов, которыми устный дискурс поддерживает себя, чтобы быть понятным, – интонациями, манерами произнесения, мимикой, жестами. В этом смысле запечатление с помощью «внешних меток», первыми появившимися для отчуждения дискурса, указывает на подлинно духовный характер (actual spirituality) дискурса. Отныне только сам смысл «спасает» смысл, без физического и психологического участия рассказчика. Но, утверждая, что смысл «спасает» смысл, мы приходим к тому, что лишь интерпретация является «лекарством» от слабости дискурса, от которой автор больше не в состоянии его «спасти».

3. Смысл превосходит событие в третий раз. Как уже было сказано, дискурс отсылает к миру в целом или некому миру. В устной речи диалог непосредственно относится к *ситуации*, общей для собеседников. Эта ситуация в некотором смысле окружает диалог. Ее ориентиры могут быть показаны жестом или указанием пальцем, или обозначены остенсивным способом самим дискурсом путем косвенной референции посредством указательных местоимений, наречий времени и места, времени глагола. Иными словами, в устном дискурсе референция *остенсивна* (ostensive). Что происходит с ней в письменном дискурсе? Говорим ли мы, что у текста больше нет референции? Это значило бы смешать референцию и наглядный показ, мир и ситуацию. Дискурс не может быть «ни о чем». Рассуждая таким образом, я противопоставляю свой подход любой идеологии абсолютного текста. Лишь некоторые запутанные тексты, в которых означающее разрывает связи с означаемым, соответствуют данному идеалу текста без референции. Подобные тексты могут послужить разве что примером исключения из правил и не могут ничего сказать о всех других текстах, тем или иным образом говорящих о мире. Что тогда является сюжетом текстов, когда ничего не может быть показано? Не пытаюсь утверждать, что в таком случае текст существует вне мира, я заявляю, не противореча, что лишь человек *обладает миром*, а не только ситуацией. Так же, как текст освобождает свой смысл от «опеки» внутренней интенции, он освобождает свою референцию от ограничений остенсивной референции. Для нас мир – это совокупность референций, открываемых текстами. Таким образом, мы говорим о «мире» Греции вовсе не для того, чтобы обозначить, как воспринимались ситуации теми, кто их проживал, но для того, чтобы обозначить неситуативные референции, которые переживают стирание из памяти изначальных ситуаций и впредь рассматриваются как возможные модусы существования, как символические измерения нашего бытия-в-мире. На мой взгляд, это референт всей литературы. Тексты, которые мы читаем, понимаем и любим, отсылают не к *Umwelt** остенсивных референций диалога, а к *Welt*** , проектируемому неостенсивными референциями. Понять текст означает оживить нашу собственную ситуацию или, если хотите, вставить между предикатами нашей ситуации все обозначения,

* Окружающему миру (нем.) – Прим. ред.

** Миру (нем.) – Прим. ред.

создающие *Welt* из нашего *Umwelt*. Именно это расширение границ *Umwelt* до горизонтов *Welt* позволяет нам рассуждать о референциях, *открываемых* текстом. Пожалуй, лучше будет сказать, что референции *открывают* мир. Здесь вновь подлинно духовный характер дискурса обнаруживается в письме, которое освобождает нас от визуальности и ограниченности ситуаций, раскрывая перед нами мир, новые измерения нашего бытия-в-мире.

В этом смысле Хайдеггер абсолютно прав, анализируя *verstehen** в работе «Бытие и время»**. Первое, что мы понимаем в дискурсе, – это не другой человек, а проект, очертания нового бытия-в-мире. Лишь письмо, освобождаясь не только от автора, но и от узких рамок ситуации диалога, раскрывает предназначение дискурса в проектировании мира.

Связывая таким образом референцию с проектированием мира, мы вспоминаем не только Хайдеггера, но и Вильгельма фон Гумбольдта, для которого предназначение языка заключается в установлении связи человека с миром. Если пренебречь этой функцией референции, останется лишь абсурдная игра беспорядочных означающих.

4. Возможно, только четвертая черта делает исполнение дискурса в письме наиболее наглядным. Дискурс, в отличие от языка, адресован кому-то. В этом и заключается основа коммуникации. Но одно дело – адресация дискурса собеседнику, равно присутствующему в ситуации коммуникации, и совсем другое – адресация (в случае фактически любого фрагмента письма) каждому человеку, умеющему читать. Границы диалогической ситуации разрушаются. Вместо того, чтобы обращаться только к вам – второму человеку, написанное обращается к аудитории, которую оно создает. Это обстоятельство вновь указывает на духовный характер письма в дополнение к его материальности и отчужденности, которые оно навязывает дискурсу. «Визави» написанного теперь имеет отношение к каждому читателю. Соприсутствие субъектов перестает быть моделью любого «понимания», а отношение «письмо-чтение» перестает быть частным случаем «говорения-слушания». Но в то же время дискурс раскрывается как дискурс в широте своего обращения. Преодолевая моментальность события – рамки ситуации, в которой находился автор, и ограниченность остенсивной референции – дискурс переступает границы существования лицом-к-лицу. У него нет более видимого слушателя. Незвестный и невидимый читатель стал непривлекательным адресатом дискурса.

До какой степени мы можем утверждать, что объект социальных наук согласовывается с парадигмой текста? Макс Вебер определяет свой объект как «*sinnhaft orientiertes Verhalten*» или «ориентированное по смыслу» поведение***. Можем ли мы заменить предикат «ориентированное по смыслу» на то, что я хотел бы определить, исходя из рассмотренной теории текста, как «читаемое» (*readability-characters*)? Попробуем применить наши четыре критерия определения текста к концепту осмысленного действия.

а. Фиксация действия

Осмысленное действие становится объектом науки только при условии некоторого рода объективации, которая эквивалентна фиксации дискурса посредством письма. Тем самым предполагается простой способ быть осмысленным, подобно тому, как, применительно к языку, это происходит в ситуации диалога. Осмысленное действие можно постигнуть и понять в процессе взаимодействия, весьма сходном с процессом интерлокуции (*interlocution*) в сфере дискурса. Именно на этом стратегическом уровне работает так

* Понимать, понимание (*нем.*) – Прим. ред.

** См.: Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Республика, 1993. – Прим. перев.

*** Здесь Рикером допущена неточность. Специфическим объектом социологии М. Вебер провозглашает не поведение, а действие. «Социологией ... будет называться наука, которая намерена, истолковывая, понять социальное действие и тем самым дать причинное объяснение его протекания и его результатов» [Вебер М. Основные социологические понятия // Теоретическая социология. Антология / Под ред. С. П. Баньковской. Ч. 1. М.: КДУ, 2002. С. 72]. Отличительная особенность действия заключается в том, что оно имеет субъективный смысл и по предполагаемому действующим лицом или лицами смыслу соотносится с действиями других людей – Прим. перев.

называемая философия действия поствитгенштейнианских мыслителей. Для теории действия Г.Э.М. Энском («Интенция»^{*}), А.И. Мелдон («Свободное действие»^{**}) и Р.Тэйлор («Действие и цель»^{***}) не нуждаются ни в каких иных концептуальных рамках, кроме тех, что функционируют в обыденном языке. Наука же представляет собой особую «языковую игру», основанную на совсем иных семантических правилах. Одно дело – говорить о действиях, целях, мотивах, акторах и их деятельности, и другое – говорить о телесных движениях как о «случающемся событии»^{****}, событиях сознания (mental events) (если таковые существуют), о физических или психических причинах. Дуализм лингвистических игр – игр обыденного языка и языка социальных и поведенческих наук – непреодолим. Как известно, основное различие между двумя языковыми играми касается несводимости *мотива*, полагаемого как «основание для» («reason for»), к *причине* (cause), интерпретируемой в понятиях Д. Юма как событие-антецедент, логически отличающееся от последствия и контингентным образом связанное с ним. Но истинно ли то, что научный подход должен в обязательном порядке исключать осмысленность и что только обыденный язык сохраняет ее? Может ли действие в научном языке быть одновременно «объективным» и «осмысленным»?

Сравнение между интерлокуцией и взаимодействием может помочь нам на этой стадии нашего анализа. Тем же способом, которым интерлокуция преодолевается в письме, взаимодействие преодолевается в многочисленных ситуациях, когда мы рассматриваем действие как фиксированный текст. Такие ситуации не замечаются в теории действия, для которой дискурс действия сам является составляющей ситуации транзакции, совершающейся между акторами, точно так же, как устная речь схватывается в процессе интерлокуции или (если можно так выразиться) транслокуции. Поэтому понимание действия на донаучном уровне представляет собой только «знание без наблюдения» или, как говорит Энском, «практическое знание», имея в виду противопоставление «знания как» «знанию что»^{*****}. Но понимание в данном случае еще не является *интерпретацией* в строгом смысле, то есть заслуживающей право называться научной интерпретацией.

Я утверждаю, что действие как таковое, осмысленное действие может стать объектом науки, не теряя осмысленности, в силу особого рода объективации, сходной с письменной фиксацией. Благодаря этой объективации действие перестает быть транзакцией, к которой все еще принадлежит дискурс действия. Оно конституирует внятный паттерн, который должен быть интерпретирован в соответствии с его внутренними связями.

Эта объективация *возможна* благодаря некоторым внутренним чертам действия, схожим со структурой речевого акта и превращающим «делание» (doing) в подобие высказывания (utterance). Подобно тому, как фиксация посредством письма становится возможной благодаря диалектике интенциональной экстерииоризации, присущей речевому акту как таковому, сходная с нею диалектика в процессе транзакции подготавливает отделение *смысла* действия от *события* действия.

Во-первых, действие имеет структуру локутивного акта. Оно обладает *пропозициональным* содержанием, которое может быть идентифицировано и

* См: *Ansdcombe G.E.M. Intention. Cambridge: Harvard University Press, 1957. – Прим. перев.*

** См: *Melden A.I. Free Action. London: Routledge and Kegan Paul, 1961. – Прим. перев.*

*** См: *Taylor R. Action and Purpose. N.J.: Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1966. – Прим. перев.*

**** Противопоставление действия претерпеванию (to act / to undergo), так или иначе, является предметом осмысления всех представителей поствитгенштейнианской философии действия. Понятие «случающееся событие» (happening) введено А.И. Мелденом. Согласно Мелдену, о «случающихся событиях» идет речь тогда, когда человек не является инициатором действий, а остается лишь «беспомощной жертвой» внешних факторов. В частности, физиологические изменения, телесные движения, не зависящие от воли человека, представляют собой «случающиеся события» (happenings), а не действия [Melden A.I. Free Action. London: Routledge and Kegan Paul, 1961. P. 24, 128-133]. – Прим. перев.

***** Различение «знания как» и «знания что» получило известность в аналитической философии благодаря работе Г. Райла «Понятие сознания» [Райл Г. Понятие сознания / Пер. с англ., общ. ред. В.П. Филатова. М.: Идея-пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999]. – Прим. перев.

реидентифицировано. «Пропозициональная» структура действия ясно и убедительно изложена Энтони Кенни в работе «Действие, эмоция и воля»*.

Глаголы действия конституируют специфический комплекс предикатов, подобных отношениям, которые, как отношения, не сводимы ко всем типам предикатов, следующих за связкой «есть». Класс предикатов действия, в свою очередь, не сводится к отношениям и конституирует особый набор предикатов. Среди других черт выделяется та, что глаголы действия допускают множество «аргументов», способных образовать дополнение глаголу, начиная от отсутствия аргумента (Платон учил) до неопределенного количества аргументов (Брут убил Цезаря, в курии, в мартовские иды, с помощью...). Такая изменчивая полидисия предикативной структуры действий-предложений типична для пропозициональной структуры действия. Другая черта, значимая для переноса концепта фиксации из сферы дискурса в область действия, касается онтологического статуса «дополнений» глаголов действия. Хотя между терминами устанавливаются отношения, в равной мере существующие или не существующие, некоторые глаголы действия имеют главное подлежащее (к нему относится предложение), которое идентифицируется как существующее, к которому отсылает предложение, но дополнения которого не существуют. Так обстоят дела с «ментальными актами» (верить, думать, желать, воображать и т.д.).

Энтони Кенни описывает некоторые другие черты пропозициональной структуры действий, производные от описания функционирования глагола действия. Например, различие между состояниями (states), деятельностями (activities) и другими проявлениями (performances)** могут быть установлены, исходя из изменений времен глаголов действия, фиксирующих специфические темпоральные черты самого действия. Различение формального и материального объектов действия (в качестве примера приведем различие между идеей воспламеняющихся вещей и письмом, которое я сжигаю в настоящий момент) относится к логике действия, отображенной в грамматике глаголов действия. Это, грубо говоря, – пропозициональное содержание действия, которое дает основу диалектике *события и смысла* как в случае речевого акта. Здесь я хотел бы остановиться на рассмотрении номатической структуры действия, так как именно она может быть зафиксирована и отделена от процесса взаимодействия и оказаться объектом интерпретации.

Более того, эта нозма имеет не только пропозициональное содержание, но и «иллокутивные» черты, подобные тем, которые демонстрирует завершённый речевой акт. Различные классы перформативных актов дискурса, описанные Остином в конце работы «Как производить действия при помощи слов»***, могут послужить парадигмами не только для самих речевых актов, но и для действий, соответствующих речевым актам. Таким образом, возможно вывести типологию действий из модели иллокутивных актов. И речь в данном случае идет не только о типологии, но о «критериологии», поскольку каждый тип предполагает наличие определенных *правил*, точнее, «конститутивных правил», которые, согласно Серлю в «Речевых актах»****, позволяют конструировать «идеальные модели», подобные «идеальным типам» Макса Вебера. Приведем пример. Чтобы понять, что такое «обещание», мы должны понять, в чем заключается «неотъемлемое условие» (essential condition), согласно которому данное действие считается обещанием. «Неотъемлемое условие» у Серля недалеко по смыслу от введенного Гуссерлем понятия «*Sinngehalt*»

* См.: Kenny A. Action, Emotion and Will. London: Routledge & Kegan Paul, 1963. – Прим. перев.

** В данном случае Рикер, опираясь на рассуждения Кенни, употребляет понятие «performance» в значении, отличном от того, которое ввел Хомский. Здесь говорится не о речевых практиках, употреблении в речевой деятельности языковых законов, а скорее о человеческих действиях, внешних проявлениях внутренних интенций. – Прим. перев.

*** Оригинальное название работы: «How to do things with words». В русском переводе см.: Остин Д. Как производить действия при помощи слов / Пер. с англ. В.П. Руднева // Избранное / Пер. с англ. Л.Б. Макеевой, В.П. Руднева. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. – Прим. перев.

**** См.: Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. NY: Cambridge University Press, 1969. – Прим. перев.

(смысловое содержание), охватывающего и «суть» (пропозициональное содержание), и «качество» (иллокутивную силу).

Теперь мы можем утверждать, что действие как речевой акт может быть идентифицировано не только в соответствии с его пропозициональным содержанием, но и в соответствии с иллокутивной силой. Оба данных аспекта конституируют «смысловое содержание» действия. Подобно речевому акту, действие-событие (если можно употребить это выражение, устанавливающее аналогию между ними) развертывает диалектику своего темпорального статуса (как появляющегося и исчезающего события), и своего логического статуса (того, что имеет конкретный распознаваемый смысл или «смысловое содержание»). Но если «смысловое содержание» делает возможным *запечатление* действия-события, то что же делает его реальным? Иными словами, что соответствует письму в сфере действия?

Вернемся к парадигме речевого акта. Как мы уже отмечали, письмом фиксируется нозма говорения: говорение как «*сказанное*». Вправе ли мы утверждать, что *сделанное* также *запечатлевается*? Некоторые метафоры могут оказаться здесь полезными. Мы говорим, что некое событие *оставляет метку* на своем времени. Мы говорим о маркирующих событиях (marking events). Нет ли таких меток, оставленных на времени, которые требуют скорее прочтения, а не слушания? Что подразумевается под метафорой «запечатленная метка» («imprinted mark»)? Рассмотрение трех других критериев определения текста поможет нам более четко выявить природу этой фиксации.

в. Автономизация действия

По принципу отсоединения текста от его автора, действие отделяется от актора и имеет собственные последствия. Данная автономизация человеческого действия конституирует его *социальное* измерение. Действие представляет собой социальный феномен не только потому, что оно совершается несколькими акторами так, что роль каждого не может быть отличена от ролей других, но и потому что наши действия «убегают» от нас и приводят к последствиям, которые мы не намеревались произвести. Здесь вновь следует обратиться к одному из значений понятия «запечатление» (inscription). Дистанция того же типа, который мы обнаружили между интенцией говорящего и буквальным смыслом текста, есть и между актором и его действием. Именно эта дистанция делает приписывание ответственности особой проблемой. Мы не задаем вопросы: «кто улыбнулся?», «кто поднял руку?». Актор присутствует при своем действовании так же, как говорящий присутствует при собственной речи. В случае простых действий, не требующих для совершения никаких предварительных действий, смысл (поема) и интенция (noesis) совпадают или накладываются друг на друга. В случае же сложных действий некоторые сегменты настолько удалены от изначальных простых элементов, выражающих интенцию актора, что приписывание этих действий или действий-сегментов конституирует сложную проблему, сравнимую с выявлением авторства в некоторых случаях литературной критикой. Установление авторства становится промежуточным выводом, хорошо знакомым историку, пытающемуся отделить роль исторического актора от хода событий.

Мы употребили выражение «ход событий». Разве мы не в праве утверждать, что так называемый «ход событий» выступает в роли материальной вещи, «спасающей» исчезающий дискурс, когда он записывается? Рассуждая метафорически, некоторые действия являются событиями, оставляющими свою метку во времени. Но на чем все-таки они оставляют метку? Не в пространстве ли запечатлевается дискурс? Как может быть событие отпечатано на чем-либо темпоральном? Социальное время, тем не менее, является не только тем, что протекает. Оно также представляет собой источник постоянного воздействия и устойчивых образцов. Действие же оставляет в нем «след», ставит свою метку, когда оно участвует в создании таких образцов, которые становятся *документами* человеческого действия.

Описать явление социального «запечатления» (social «imprint») поможет другая метафора – метафора «регистрации» («registration») или «документа» («record»). Джоел

Файнберг в работе «Действие и ответственность»^{*} представляет данную метафору в ином контексте, касающемся проблемы ответственности. Он показывает, каким образом действие может быть представлено для вынесения обвинения. По его мнению, только действиям, «зарегистрированным» для последующего уведомления, внесенным как отдельная запись в чей-либо «документ», может быть предъявлено обвинение. В случае если официальные документы (сохраняемые такими институтами, как агентства по трудоустройству, школы, банки, полиция) не обнаружены, начинает действовать неформальный аналог официальных документов, которые мы называем репутацией, и именно он создает основу для обвинения. Я хотел бы применить эту любопытную метафору «документа» в области рассуждения, отличной от квази-судебных ситуаций обвинения, возложения ответственности, приписывания совершения какого-либо действия или наказания. Разве история не представляет собой документ человеческого действия? История является той самой «квази-вещью», на которой человеческое действие оставляет «след», свою метку. По этой причине возможно существование «архивов». Прежде чем архивы специально создаются мемуаристами, происходит непрерывный процесс «документирования» человеческого действия. Так, история становится суммой меток, судьба которых перестает контролироваться индивидуальными акторами. Отныне она может появляться в виде автономной сущности, пьесы, в которой актеры не знают сюжета. Такое гипостазирование истории можно провозгласить обманчивым, однако эта обманчивость прочно закрепляется в процессе превращения человеческого действия в социальное путем записи в архивы истории. Благодаря такому «оседанию» в социальном времени, человеческие деяния превращаются в «институты» с той точки зрения, что их смысл более не совпадает с рациональными интенциями акторов. Смысл может быть «депсихологизирован» там, где осмысленное («*sinnhaft*») становится неотъемлемой частью самого поступка. Как отметил П. Уинч в работе «Идея социальной науки»^{**}, объектом социальных наук является «поведение, подчиненное правилам» (*rule-governed behavior*). Но это правило не накладывается сверху на [словно бы отдельное от него поведение], именно смысл выражается в «осевших», или, иными словами, закрепленных в институтах поступках. В этом заключается особого рода «объективность», исходящая от «социальной фиксации» осмысленного поведения.

с. Релевантность и значимость

Согласно нашему третьему критерию определения текста мы сможем утверждать, что осмысленное действие – это действие, *значимость* которого распространяется за пределами его *релевантности* для изначальной ситуации. Происходит то же самое, что и с текстом, когда тот разрушает связи дискурса со всеми остенсивными референциями. Благодаря освобождению от ситуационного контекста, дискурс может развивать неостенсивные референции, называемые нами «миром», в том смысле, в котором мы говорим о греческом «мире», имея в виду не космологическое значение данного слова, но онтологическое измерение.

Что будет соответствовать неостенсивным референциям текста в сфере действия?

В начале настоящего анализа мы сопоставили *значимость* действия и его *релевантность* ситуации, к которой оно относится. Можно утверждать, что значимое действие раскрывает смыслы, которые могут актуализироваться или осуществиться в ситуациях, отличных от той, в которой произошло действие. Иными словами, смысл значимого события превышает, преодолевает, переступает пределы социальных условий его порождения и может быть воспроизведен в новых социальных контекстах. Значимость действия заключается в его устойчивой релевантности и, в некоторых случаях, релевантности во всевозможных временных измерениях.

^{*} См.: *Feinberg J. Doing and Deserving: Essays in the Theory of Responsibility*. Princeton: Princeton University Press, 1970. – Прим. перев.

^{**} См.: *Уинч П. Идея социальной науки и ее отношение к философии* / Пер. с англ. М. Горбачева, Т. Дмитриева. М.: Русское феноменологическое общество, 1996. – Прим. перев.

Эта третья особенность текста влечет за собой важные последствия для отношений между культурными феноменами и их социальными условиями. Разве великие произведения культуры не преодолевают условия своего социального производства так, как это делает текст, создавая новые референции и конституируя новые «миры»?

Именно в этом смысле в «Философии права»* Гегель рассуждал об институтах (в самом широком смысле слова), «реализующих» свободу как *вторую природу*, соответствующую свободе. «Царство реализованной свободы» создается деяниями и поступками, способными быть релевантными в новых исторических ситуациях. Если это суждение истинно, то данный способ преодоления условий воспроизводства некой деятельности является ключом к решению запутанных проблем марксизма, касающихся статуса «надстроек». Автономия надстроек по отношению к их собственным инфраструктурам обнаруживает свою парадигму в области неостенсивных референций текста. Поступок не только отображает свое время, но и открывает мир, который он несет в себе.

d. Человеческое действие как «открытый поступок»

Итак, согласно нашему четвертому критерию определения текста, смысл человеческого действия – это то, что адресовано неопределенному кругу потенциальных «читателей». Судьями являются не современники, а, как сказал Гегель, сама история. *Weltgeschichte ist Weltgericht*** . Это означает, что, как и текст, человеческое действие является открытым поступком, и его смысл «пребывает в неопределенности». Данное обстоятельство объясняется тем, что действие раскрывает новые референции и приобретает от них новую релевантность; человеческие деяния ждут свежих толкований, определяющих их смысл. Все значимые события и деяния открыты такого рода практической интерпретации посредством актуального *праксиса*. Человеческое действие также открыто каждому, кто *умеет читать*. Как смысл события становится предметом его последующих толкований, так и интерпретация действия современниками оказывается не последней в этом процессе.

Диалектика поступка и его интерпретаций окажется в фокусе той *методологии* интерпретации, которую мы далее рассмотрим.

II. Проблема интерпретации текста

Теперь я хотел бы продемонстрировать продуктивность этой аналогии с текстом для методологии.

Основное следствие нашей парадигмы для методологии социальных наук заключается в том, что она предлагает новый подход к проблеме соотношения *erklären* (объяснения) и *verstehen* (понимания). Хорошо известно, что Дильтей представил их соотношение как дихотомию. По его мнению, любая модель объяснения заимствована из особой области знания – естественных наук с их индуктивной логикой. С тех пор автономия так называемых наук о духе (*Geisteswissenschaften*) сохраняется лишь путем признания их метода как понимания чужой психической жизни, исходя из знаков, с помощью которых эта жизнь непосредственно себя выражает. Но если между пониманием и объяснением существует логическая пропасть, как могут социальные науки быть научными? Дильтей боролся с этим парадоксом. Он приходил ко все более очевидным выводам (главным образом после прочтения «Логических исследований»*** Гуссерля), что науки о духе являются науками, поскольку выражения человеческой жизни подвергаются некоторого рода объективации, позволяющей применять научный подход по аналогии с естественными науками, несмотря на логическую дистанцию между Природой и Духом, знанием фактическим и знанием

* См.: Гегель Г. Философия права. М.: Мысль, 1990. – Прим. перев.

** Всемирная история – это всемирный суд (нем.). – Прим. ред.

*** См.: Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. – Прим. перев.

посредством знаков. Таким образом, опосредствование, которое предлагают эти объективации, оказывается для достижения научной цели более важным, чем непосредственная осмысленность выражений жизни в повседневных транзакциях.

Мое собственное исследование начинается с рассмотрения данной дилеммы Дильтея. Гипотеза заключается в том, что объективация того рода, что предполагается текстуальным статусом дискурса, дает более ясный ответ на вопрос Дильтея. Этот ответ опирается на диалектический характер отношений объяснения и понимания, обнаруживающийся в чтении. Соответственно, наша задача – посмотреть, до какой степени парадигма чтения, являющаяся дополнением парадигмы письма, предлагает решение методологического парадокса социальных наук.

Диалектика, заложенная в чтении, выражает специфику отношения между письмом и чтением и его несводимость к диалогической ситуации, основанной на непосредственной связи говорения и слушания. Диалектика понимания и объяснения *связана с тем*, что ситуация письма-чтения развертывает собственную проблему, которая не является просто продолжением ситуации говорения-слушания, конституирующей диалог.

Именно поэтому наша модель герменевтики в наибольшей степени критична к герменевтической традиции, идущей от романтизма, которая рассматривает диалогическую ситуацию как стандарт герменевтической процедуры по отношению к тексту. Я же убежден в том, что именно эта операция, напротив, только и открывает смысл того, что уже является герменевтическим в диалогическом понимании. В таком случае, если сам диалог не предлагает парадигмы чтения, нам следует разработать собственную парадигму.

Наша парадигма заимствует основные характеристики у текста: 1) фиксацию смысла, 2) отсоединение смысла от интенции автора, 3) наличие неостенсивных референций и 4) существование неограниченного круга читателей. Эти четыре особенности текста, взятые вместе, конституируют «объективность» текста. Данное качество текста предполагает особого рода *объяснение*, которое происходит не из области природных событий, но родственно той самой «объективности». Таким образом, не происходит переноса из одной реальности в другую, скажем, из области фактов в область знаков. Процесс объективации имеет место в сфере знаков и создает условия для объяснительных процедур. В этой же знаковой сфере объяснение и понимание противостоят друг другу.

Я предлагаю рассматривать эту диалектику двумя способами: 1) как идущую от понимания к объяснению, и 2) как идущую от объяснения к пониманию. Обмен и взаимодействие обеих процедур позволит лучше понять диалектический характер их отношения. В конце каждого рассуждения я попытаюсь вкратце показать возможности применения парадигмы чтения ко всей области наук о человеке.

а. От понимания к объяснению

Первую диалектику – или, точнее, первую фигуру этой уникальной диалектики, – удобно вводить, опираясь на наши соображения о том, что понимание текста не означает присоединения к автору. Отделение смысла от интенции создает абсолютно специфическую ситуацию, которая и порождает диалектику объяснения и понимания. Если объективный смысл несколько отличается от субъективной интенции автора, то он может быть истолкован различными способами. Проблема истинного понимания не может более решаться с помощью непосредственного обращения к сомнительной интенции автора.

Толкование непременно превращается в целый процесс. Как отметил Э.Д. Гирш^{*}, не существует правил создания хороших предположений, но есть методы их подтверждения¹.

^{*} См.: Hirsch E.D. *Validity in Interpretation*. New Haven, Yale University Press, 1967. – *Прим. перев.*

¹ Определение «подтверждения в ходе интерпретации» (New Haven, 1967): «Акт понимания вначале есть гениальное (или ошибочное) предположение. Не существует никаких методов создания предположений и никаких правил интуитивного понимания. Методическая часть интерпретации начинается тогда, когда мы

Диалектика предположения и подтверждения конституирует первую форму нашей диалектики понимания и объяснения.

Здесь оба понятия имеют решающее значение. Предположение относится к процедуре, которую Шлейермахер называл «дивинационной», а подтверждение – к той, которую он определял как «грамматическую». Я, в свою очередь, хотел бы более тесно связать теорию этой диалектики с теорией текста и чтения.

Почему нам необходимо искусство создания предположений? Почему мы вынуждены «конструировать» смысл? Не только потому (как я пытался показать несколько лет назад), что язык метафоричен и требует расшифровки, выявляющей несколько слоев смысла. Метафоричность – лишь особый случай для общей теории герменевтики. Прибегая к более широким понятиям, текст должен быть истолкован, так как он представляет собой не простую последовательность предложений, имеющих равный статус и понимаемых в отдельности. Он является целостностью. Отношение между целым и частями (как в случае произведения искусства, так и живого существа) нуждается в особом «суждении», которое Кант теоретически обосновал в Третьей Критике*. Точнее, целое проявляется как иерархия тем, первичных или второстепенных элементов. Реконструкция текста как целого в обязательном порядке принимает циркулярный характер: представление о некоем целом предполагает наличие частей. И, соответственно, истолковывая детали, мы истолковываем целое. Никакая необходимость или очевидность не свидетельствуют о том, что важно и неважно, существенно и несущественно. Суждение о важности является только предположением.

Переформулировав проблему, отметим, что, если текст является целостностью, то он индивидуален так же, как живое существо или произведение искусства. Его индивидуальность познается только в процессе сужения круга общих понятий, касающихся литературного жанра, класса, к которому принадлежит текст, и различных видов структур, пересекающихся в этом тексте. Локализация же и индивидуализация уникального текста все еще являются предположениями.

Можно выразить ту же головоломку иначе: к тексту как индивиду можно подойти с разных сторон. Подобно кубу или другому объему в пространстве, текст представляет собой «рельеф», разные темы находятся в нем не на одной высоте. Следовательно, реконструкция целого внешне схожа с восприятием. Всегда возможно связывать одно и то же предложение разными способами с тем или иным предложением, рассматриваемым как краеугольный камень текста. Акт чтения предполагает некую односторонность, которая укрепляет «гипотетический» характер интерпретации.

Потому-то проблема интерпретации существует не столько из-за непередаваемости психических переживаний автора, сколько из-за самой природы буквальной интенции текста. Эта интенция – нечто большее, чем сумма индивидуальных смыслов единичных предложений, а текст – больше, чем линейная последовательность предложений. Это кумулятивный, целостный процесс. Данная специфическая структура текста не выводится из структуры отдельного предложения. Следовательно, особое «многоголосье», свойственное текстам как таковым, несколько отличается от полисемии единичных слов в обыденном языке и двусмысленности единичных предложений. Эта «многоголосье» типично для текста как целого, открытого для нескольких прочтений и толкований.

Что касается процедур проверки наших предположений, то я соглашусь с Гиршем, что они скорее ближе логике вероятности, чем логике эмпирической верификации. Демонстрация того, что некая интерпретация более вероятна в свете известных фактов, несколько отличается от указания на то, что вывод истинен. В этом смысле подтверждение – не верификация. Подтверждение скорее сравнимо с процедурами интерпретации закона в судебной практике. Речь здесь идет о логике недоверности и качественной вероятности.

проверяем и подвергаем критике наши гипотезы». (р. 209). И затем: «Немой символизм может быть истолкован несколькими способами».

* См.: Кант И. Критика способности суждения // Сочинения: В 6-ти т. Т. 5. М.: Мысль, 1966. – Прим. перев.

Так, мы можем придать приемлемое значение оппозиции между науками о природе и науками о духе, не признавая сомнительную догму о невыразимости индивидуального. Метод дачи показаний, типичный для логики субъективной вероятности, предоставляет твердые основания науке об индивидууме право считаться наукой. Текст квази-индивидуален, и можно сказать с полной уверенностью, что подтверждение его интерпретации дает научное знание о нем. Таков баланс между гениальностью предположения и научным способом подтверждения, который конституирует современное дополнение диалектики понимания и объяснения.

В то же время мы готовы дать приемлемое значение известному концепту «герменевтический круг». Предположение и подтверждение находятся в таких же циркулярных отношениях, как субъективный и объективный подходы к толкованию текста. Но этот круг не порочен. Мы загоним себя в тупик, если не избежим так называемой «самоподтверждаемости» («self-confirmability»), которая, согласно Гиршу (р. 165), угрожает отношениям между предположением и подтверждением. К процедурам подтверждения относятся также процедуры опровержения или фальсификации, отмеченные Карлом Поппером в «Логике научного открытия»*, где роль фальсификации принимает на себя конфликт конкурирующих интерпретаций. Интерпретация должна быть не только вероятной, но и более вероятной, чем другая. Здесь имеют силу критерии относительного превосходства, которые можно легко вывести из логики субъективной вероятности.

Итак, если истинно, что всегда есть более чем один способ толкования текста, тот факт, что все интерпретации равны и могут быть уподоблены так называемому «практическому правилу» («rules of thumb»)** , является ложным (Hirsch, p. 203). Область возможных интерпретаций текста ограничена. Логика подтверждения позволяет нам двигаться между двумя ограничениями: догматизмом и скептицизмом. Всегда можно найти аргументы «за» или «против» отдельной интерпретации, противопоставлять версии и искать компромисс, даже если он не достигим.

Насколько эта диалектика предположения и подтверждения проблематична для всей сферы социальных наук? Тот факт, что смысл человеческих действий, исторических событий и социальных феноменов может быть *истолкован* различными способами, хорошо известен экспертам в области социальных наук. Что менее известно и понятно, так это то, что данное методологическое затруднение заложено в самой природе объекта и, более того, оно не обрекает ученого метаться между догматизмом и скептицизмом. Согласно логике интерпретации текста, *специфическое «многоголосие»* изначально присуще смыслу человеческого действия. Человеческое действие, в свою очередь, представляет собой ограниченную область потенциальных интерпретаций.

Еще одна черта человеческого действия, не выделенная нами в предыдущем анализе, позволяет проследить любопытную связь между специфическим «многоголосием» текста и аналогичным «многоголосием» действия. Эта черта касается отношения между целенаправленностью и мотивационными аспектами действия. Как показали многие философы, работающие в новом поле теории действия, целенаправленный характер действия полностью осознается, когда ответ на вопрос «что?» (*what?*) дается в соответствии с вопросом «почему?» (*why?*). «Я пойму, что вы намеревались сделать, если вы сможете объяснить мне, почему вы совершили то или иное действие». Какие типы ответов на вопрос «почему?» имеют смысл? Только те, в которых мотив понимается как основание, а не причина. Но какое «основание» не является причиной? Согласно Г.Э.М. Энском и А.И. Мелдону, выражение или фраза, позволяющая рассматривать действие *как* то или это. Если вы скажете мне, что сделали то или это из-за зависти или чувства мести, тем самым вы просите меня представить ваше действие в категориях чувств или диспозиций. В то же

* См.: Поппер К.Р. Логика научного открытия // Поппер К. Р. Логика и рост научного знания. М., Прогресс, 1983. – Прим. перев.

** Практическое правило, или тот принцип, которым мы руководствуемся в повседневной жизни, противостоит научному методу. – Прим. перев.

время, вы претендуете на то, чтобы придать действию смысл, а также на то, чтобы оно было понятным другим и вам самому. Эта попытка особенно полезна применительно к тому, что Энском называет «привлекательностью желания» (*desirability character of wanting*). Желания и верования являются не только *силами*, заставляющими людей действовать определенным способом, но и задают смысл своей ориентацией на достижение видимого блага, соответствующего их привлекательности. Наверное, мне придется отвечать на вопрос: «что для вас в этом желательного?» На основе «привлекательности» желаний и соответствующих им благ, можно *спорить* о смысле действия, рассуждать о «за» или «против» той или иной интерпретации. В этом случае приписывание мотивов уже предвещает логику аргументации. Разве мы не вправе утверждать, что в человеческом действии можно и должно *истолковывать* его мотивационное основание, то есть ряд объясняющих его стимулирующих характеристик? И разве мы не вправе утверждать, что процесс *аргументации*, соединенный с объяснением действия посредством его мотивов, раскрывает это «многоголосие», роднящее действие с текстом?

Переход от предположения смысла текста к постановке гипотезы относительно смысла действия легитимируется тем фактом, что, рассуждая о смысле действия, я «помещаю» свои желания и убеждения на некой дистанции и оставляю их перед лицом диалектики конфронтации с противоположными точками зрения. Данный способ дистанцированного «размещения» моего действия с целью осмысления собственных мотивов приводит к виду дистанцирования, происходящему во время социального *запечатления* человеческого действия, к которому мы применили метафору «документа». Действия, которые могут быть занесены в «документы» и затем «зарегистрированы», могут быть *объяснены* различными способами в соответствии с «многоголосием» аргументации по отношению к их мотивам.

Если правомерно применить по отношению к действию концепт «предположение» (которое мы взяли в качестве синонима «*verstehen*»), то можно также использовать понятие «подтверждение» в качестве аналога «*erklären*». Здесь современная теория действия вновь предоставляет нам посредническую связь между методами литературного критицизма и методами социальных наук. Некоторые мыслители пытались разъяснить способ, которым мы *вменяем* действия актерам в суде, когда судья или трибунал принимает решение по поводу контракта или преступления. В известной статье «Приписывание ответственности и права»², Г.Л.А. Харт убедительно показывает, что судебная аргументация вовсе не предполагает применение общих законов к частному случаю, но каждый раз состоит в истолковании единичных решений. Эти решения завершают последовательные опровержения защиты, которые могли бы отвергнуть иск или обвинение. Отметив, что действия могут быть аннулированы, и судебная аргументация охватывает различные способы опровержения иска или обвинения, Харт разработал основания для общей теории подтверждения, в которой судебная аргументация может стать фундаментальной связью между процедурами подтверждения в литературной критике и в социальных науках. Эта посредническая функция судебной аргументации четко указывает на то, что процессы подтверждения имеют полемический характер. Перед лицом суда «многоголосье», присущее и тексту, и действию, представлено в виде конфликтов интерпретаций, и окончательная интерпретация оказывается вердиктом, который затем можно обжаловать. Как и законные высказывания, все интерпретации в области литературной критики и социальных наук могут быть оспорены. Вопрос «что может отклонить иск?» присущ всем спорным ситуациям. Однако только в трибунале возможен такой случай, когда процедуры апелляции исчерпаны. Но это происходит лишь потому, что решение судьи обусловлено силой государственной власти. Ни в литературной критике, ни в социальных науках нет прецедентов последнего слова. Если же вдруг такое происходит, мы называем это принуждением.

² Hart H.L.A. The Ascription of Responsibility and Rights // Proceedings of the Aristotelian Society. № 49. 1948. P. 171-194.

в. От объяснения к пониманию

Знакомая нам диалектика понимания и объяснения может приобрести другой смысл, если рассмотреть ее в противоположном ключе, переходя от объяснения к пониманию. Диалектика в этом новом *геистальте* начинает с природы референциальной функции текста. Как мы уже отмечали, эта референциальная функция преодолевает остенсивное обозначение диалогической ситуации, общей для говорящего и слушателя. Абстрагирование от окружающего мира дает начало двум противоположным состояниям. Будучи читателями, мы можем либо пребывать в неопределенности (как предполагает любая референция к миру), либо актуализировать возможные неостенсивные референции текста в новой ситуации. В первом случае мы рассматриваем текст как сущность вне мира, во втором – сами создаем новую остенсивную референцию благодаря особому исполнению, предполагаемому искусством чтения. Обе возможности в равной степени создаются актом чтения, дающим начало их диалектическому взаимодействию.

Первый тип чтения представлен сегодня различными *структуралистскими* школами литературной критики. Их подход не только возможен, но и оправдан. Он начинается с приостановки веры, *epoché*, в остенсивную референцию. Читать в данном случае означает перенести это сомнение на весь мир и представить себя на «месте» герметичного текста. Согласно этому подходу, у текста отныне нет «внешнего», а есть только внутреннее содержание. Более того, такое конструирование текста как текста и системы текстов (поскольку литература оправдывает превращение произведений в закрытую систему знаков) аналогично созданию закрытых систем, которые фонология обнаружила в основе всего дискурса и которые де Соссюр определил как «язык» (*la langue*). Согласно этой рабочей гипотезе, литература становится *аналогом* «языка».

На основе данной абстракции новый тип объяснения может быть применен к литературному объекту, который, вопреки ожиданиям Дильтея, не заимствован из естественных наук, то есть области знания, чуждой языку как таковому. Здесь не действует оппозиция Природы (*Natur*) и Духа (*Geist*). Модель объяснения берется из области семиологии. Теперь возможно рассматривать тексты в соответствии с элементарными правилами, успешно применяемыми в лингвистике по отношению к элементарным знаковым системам, лежащим в основе использования языка. Женевская, Пражская и Датская школы учат нас тому, что *системы* можно абстрагировать от *процессов* и сводить эти системы (фонологические, лексические или синтаксические) к частям, противопоставленным другим частям внутри одной системы. Взаимодействие же отдельных сущностей внутри конечных совокупностей таких элементов определяет понятие структуры в лингвистике.

Данная структуралистская модель сегодня применяется по отношению к текстам и рассматривает их как порядок знаков, а не предложений, являющихся элементарными единицами рассмотрения в лингвистике.

Клод Леви-Стросс в работе «Структурная антропология»^{*} формулирует рабочую гипотезу по отношению к текстам-мифам: «Как любая лингвистическая сущность, миф состоит из конститутивных элементов. Эти элементы встречаются в структурах языка – фонемах, морфемах, семантемах. Каждая форма отличается от предыдущей более высоким уровнем сложности. В связи с этим мы определим самые сложные элементы мифа как большие конститутивные элементы (*constitutive units*)» (р. 233). Согласно этой гипотезе, большие элементы (сравнимые по размеру с предложением), взятые вместе, формируют нарратив, присущий мифу, и могут рассматриваться в соответствии с теми же правилами, что и наименьшие элементы, изучаемые лингвистикой. С целью обоснования данного сходства Леви-Стросс рассуждает о мифемах так же, как мы говорим о морфемах и семантемах. Но чтобы остаться в рамках аналогии между мифемами и более простыми элементами, анализ текста должен достичь той степени абстракции, которая практикуется в

^{*} См.: Леви-Стросс К. Структурная антропология / Пер. с фр. В. В. Иванова. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.– Прим. перев.

фонологии. Для фонолога фонема – не конкретный звук, в абсолютном смысле, с его акустическим качеством. Говоря словами де Соссюра, она является не «субстанцией» («substance»), а «формой» («form») или отношением. Аналогично мифема не сводится к одному предложению мифа, но, напротив, связана несколькими единичными предложениями, образуя, согласно Леви-Строссу, «узел отношений» («bundle of relations»). «Только в комбинациях таких узлов конститутивные элементы приобретают смысловую функцию» [р. 234]. То, что мы здесь называем смысловой функцией, не является тем, что миф означает с философской или экзистенциальной точки зрения или интуиции, но есть порядок, соотношение мифем – вкратце, структура мифа.

Конечно, можно возразить, что мы объяснили миф, но не проинтерпретировали его. Мы можем с помощью структуралистского анализа выявить логику, рассмотрев операции, которые соотносят узлы отношений между собой. Эта логика конституирует «структуралистский закон мифа» [р. 241]. Закон является преимущественно объектом чтения, а вовсе не говорения, в смысле воспроизведения мощи мифа в конкретной ситуации. Здесь текст оказывается только текстом, благодаря временному отстранению его смысла от нас и задержке всей актуализации речью в настоящем времени.

Теперь я бы хотел показать, каким именно образом объяснение нуждается в понимании и как это отношение придает новый вид внутренней диалектике, конституирующей интерпретацию в целом. Фактически никто не удовлетворяется концепцией мифов и нарративов, формальной как алгебра конститутивных элементов. Это может быть показано несколькими способами. Прежде всего, даже в наиболее формализованных презентациях мифов Леви-Стросса, мифемы, тем не менее, выражены предложениями, имеющими смысл и референцию. Может ли кто-то сказать, что их смысл нейтрализуется в «узле отношений», предусматриваемом «логикой» мифа? Даже этот самый узел, в свою очередь, должен быть записан в форме предложения. В итоге языковая игра, охватывающая все оппозиции и комбинации элементов, потеряла бы всякое значение, если сами оппозиции (которые, согласно Леви-Строссу, стремятся объединить миф) не были бы смысловыми, касающимися рождения и смерти, слепоты и ясности, сексуальности и истины. Кроме этих экзистенциальных конфликтов не было бы других противоречий, которые должен преодолеть миф, не была бы реализована его логическая функция как попытка преодолеть эти противоречия. Структуралистский анализ не исключает, а наоборот, предполагает противоположное видение мифа – миф, как изначальный нарратив, имеет смысл. Структуралистский подход только подавляет данную функцию мифа. Но он не может ее скрыть: миф не будет логически функционировать, если его пропозиции не будут указывать на пограничные ситуации. Структурализм, далекий от того, чтобы избавиться от этой проблемы, ставит ее более радикальным способом.

Если это истинно, то вправе ли мы сказать, что задача структуралистского анализа заключается в продвижении от поверхностной семантики рассказанного мифа к глубинной семантике, то есть к пограничным ситуациям, конституирующим первоначальный «референт» мифа?

Я совершенно уверен: если бы функция структуралистского анализа не была таковой, он свелся бы к бесплодной игре, спорной алгебре и даже миф был бы лишен функции, приписываемой ему Леви-Строссом – сообщения людям об определенных оппозициях и их последовательном соединении. Лишить миф этой референции к апориям существования означает свести теорию мифа к некрологам бессмысленных дискурсов человечества. Если, напротив, мы рассматриваем структуралистский анализ как необходимый этап между наивной и критической, поверхностной и глубинной интерпретациями, то возможно локализовать объяснение и понимание на разных стадиях единой *герменевтической дуги*. Именно глубинная семантика конституирует подлинный объект понимания и требует особой близости между читателем и содержанием текста.

Однако нам не следует заблуждаться относительно понятия личной близости. Глубинная семантика текста – это не то, что намеревался сказать автор, но то, о чем говорит

сам текст, то есть его неостенсивные референции. Неостенсивные же референции представляют собой некий мир, раскрываемый глубинной семантикой текста.

Поэтому то, что мы хотим понять, не спрятано за текстом, но раскрывается перед ним. Следует понимать не изначальную ситуацию дискурса, но то, что указывает на возможный мир. Понимание как никогда слабо связано с автором и его ситуацией, оно охватывает пропозиции, открываемые референцией текста. Понимать текст означает следовать от его смысла к референции – от того, *что* он говорит, к тому, *о чем* он повествует. В этом процессе *посредническая* функция структуралистского анализа оправдывает применение объективного подхода и корректировку, вносимую субъективным подходом. Мы полностью избавлены от отождествления понимания с интуитивным схватыванием интенции, заложенной в тексте. Плоды структуралистского анализа дают повод задуматься о предписании текста, заложенном в нем новом взгляде на вещи и новом способе мышления.

Такова референция, порождаемая глубинной семантикой. Текст повествует о возможном мире и возможных способах ориентации в нем. Измерения этого мира раскрываются в самом тексте.

Если, следовательно, мы сохраним язык герменевтики, характерный для романтической традиции, говорящей о преодолении дистанции, присвоении и понимании всего далекого, чужого, то он потребует серьезной корректировки. То, что мы присваиваем (по-немецки – *Aneignung*) и понимаем, является не чужим опытом, но силой раскрытия мира, конституирующей референцию текста.

На мой взгляд, связь между раскрытием текста и его пониманием является краеугольным камнем герменевтики, которая претендовала бы одновременно на преодоление ограничений историцизма и сохранение верности герменевтике Шлейермахера. Понять автора лучше, чем он смог бы это сделать сам, означает продемонстрировать силу раскрытия дискурса за пределами ситуации его порождения. Процесс же дистанцирования, атемпорализации, с которым мы связываем фазу объяснения (*Erklärung*), является фундаментальной предпосылкой расширения горизонта текста.

Вторая фигура, или *геиштальт*, диалектики объяснения и понимания обладает парадигматическим характером, присущим всей сфере наук о человеке. Я хочу сфокусировать внимание на трех его аспектах.

Во-первых, применение структуралистской модели, взятой в качестве парадигмы объяснения, может быть расширено от области текстов до сферы всех социальных феноменов, так как она используется не только по отношению к лингвистическим знакам, но и ко всем видам знаков, аналогичных лингвистическим. Понятие семиологической системы формирует посредническую связь между текстуальной моделью и социальными феноменами. С точки зрения семиологии, лингвистическая система – лишь один из видов семиотических систем, хотя и служит образцом для других подобных систем. Можно утверждать, что структуралистская модель объяснения может быть генерализована постольку, поскольку обо всех социальных феноменах можно сказать, что они имеют семиологический характер, то есть поскольку типичные отношения семиологической системы могут быть определены на уровне этих феноменов: общие отношения между кодом и сообщением, отношения между специфическими единицами кода, отношения между означающим и означаемым, типичные отношения внутри социальных сообщений и между ними, структура коммуникации как обмен сообщениями и т.д. Семиотические или символические функции, в частности, замена объектов знаками и репрезентация объектов с помощью знаков, становятся все более очевидными в социальной жизни. Эти функции находятся в самом ее основании. Следует отметить, что не только символическая функция является социальной, но и социальная реальность в основе своей символична.

Продолжая данное рассуждение, мы обнаруживаем, что тип объяснения в структуралистской модели несколько отличается от классической каузальной модели, особенно если каузальность интерпретируется в терминах Юма как регулярная

последовательность antecedентов и следствий, между которыми нет внутренней логической связи. В структурализме системы предполагают отношения между частями иного рода: скорее коррелятивные, чем отношения следования. Если это истинно, то классический спор о мотивах и причинах, разрывавший теорию действия последние десятилетия, теряет свою значимость. Если основная задача объяснения – поиск коррелятов в семиотических системах, то нам следует переформулировать проблему мотивации в социальных группах с помощью других понятий. Однако развитие этого тезиса находится за рамками данной статьи.

Второй парадигматический аспект нашего концепта интерпретации текста касается роли глубинной семантики как посредника *между* структуралистским анализом и пониманием. Эта посредническая роль не должна оставаться незамеченной с тех пор как от нее зависит статус понимания – утрата им психологичности и субъективности и приобретение эпистемологической функции.

Существует ли аналог глубинной семантики текста в социальных феноменах? Думаю, поиск коррелятов внутри и между социальными феноменами, рассматриваемыми как семиотические системы, утратил бы всякий интерес и смысл, если бы он не подчинился *чему-то* похожему на глубинную семантику. Так же, как лингвистические игры, согласно Витгенштейну, являются формами жизни, социальные образования пытаются справиться с экзистенциальными дилеммами, человеческими трудностями, глубинными конфликтами. С этой точки зрения, такие структуры также имеют референциальное измерение. Они указывают на проблемы социального существования, те же проблемы, на которых концентрируется мифология. Эта аналогичная функция референции развивает черты, очень схожие с теми, которые мы назвали неостенсивными референциями текста, создающими мир (*Welt*) из «окружающего» мира (*Umwelt*), проекцию мира из конкретной ситуации. Разве в социальных науках мы не делаем то же самое *посредством* структуралистского анализа: начинаем с наивного и заканчиваем критическим толкованием, продвигаемся от поверхностной к глубинной интерпретации? Но именно глубинная интерпретация придает смысл всему процессу.

Итак, третье и последнее суждение. Если мы проследим диалектику объяснения и понимания до конца, то обнаружим, что смысловые модели, которыми стремится овладеть глубинная интерпретация, не могут быть поняты без некоего личного участия, как в случае с читателем, который схватывает глубинную семантику текста и «присваивает» ее себе. Каждому известны сложности, с которыми сопряжен перенос концепта понимания в социальные науки. Разве он не легитимирует внедрение личных предубеждений и субъективизма в научное исследование? Разве он не привносит все парадоксы герменевтического круга в социальные науки? Иными словами, разве парадигма раскрытия текста и его понимания не разрушают саму основу социальной науки? Способ, которым мы представляем эту пару понятий в рамках интерпретации текста, содержит не только парадигматическую проблему, но и парадигматическое решение.

Решение заключается не в отрицании роли личного участия в понимании человеческих феноменов, а в ее уточнении. Как показывает модель текстуальной интерпретации, понимание не имеет ничего общего с *непосредственным* постижением чужой психической жизни или *эмоциональным* отождествлением с интенцией другого человека. Понимание полностью сопряжено с объяснительными процедурами, предшествующими и сопутствующими ему. Дубликат личного понимания – не то, что может быть прочувствовано, но динамический смысл, раскрываемый объяснением, который мы прежде обнаруживаем с помощью референций текста, его способности раскрывать мир.

Рассмотрение парадигматического характера текстуальной интерпретации может быть применено к его последнему следствию. Это означает, что условия истинного понимания в случае текстов сами по себе являются парадигматическими. Поэтому нам нельзя исключить завершающий акт личного присвоения текста из ряда опосредующих его объективных и объяснительных процедур.

Уточнение понятия личного участия не исключает из рассуждения концепт «герменевтический круг». Круг остается вечной структурой знания по отношению к человеческим явлениям, но данное качество предохраняет его от того, чтобы стать порочным кругом. В конечном счете соотношение между объяснением и пониманием, пониманием и объяснением и есть «герменевтический круг».

*Перевод с английского Анны Борисенковой
под научной редакцией А.Ф. Филиппова*